

Описание одной борьбы. Франц Кафка

И по гальке вперевалку

Нарядившись ходят люди

Под огромным этим небом,

Что к холмам совсем далеким

От холмов простерлось дальних.

Около двенадцати часов некоторые уже поднялись, поклонились, пожали друг другу руки, сказали, что было очень приятно, и вышли через большой дверной проем в переднюю одеваться. Хозяйка стояла посреди комнаты, подвижно кланяясь, а ее платье ложилось изящными складками.

Я сидел за маленьким столиком – у него были три вытянутые тонкие ножки, – прикладываясь к третьей рюмочке бенедиктина и одновременно оглядывая свой небольшой запас печенья, которое я сам выискал и наложил себе, ибо оно имело тонкий вкус.

Тут ко мне подошел мой новый знакомый и, немного рассеянно улыбнувшись при виде моего занятия, сказал дрожащим голосом:

– Простите, что я подошел к вам. Но до сих пор я сидел один со своей девушкой в соседней комнате. С половины одиннадцатого, совсем не так долго. Простите, что я это говорю вам. Мы же не знаем друг друга. Не правда ли, мы встретились на лестнице и сказали друг другу несколько вежливых слов, а теперь я уже говорю вам о своей девушке, но вы должны мне – прошу вас – простить, счастье рвется из меня наружу, я ничего не мог поделать. А так как у меня нет других знакомых, которым я доверяю...

Так он говорил. А я огорченно посмотрел на него – ибо кусок фруктового торта, который находился у меня во рту, был невкусен – и сказал ему в его красиво разругавшееся лицо:

– Я рад, что кажусь вам достойным доверия, но огорчен тем, что вы мне это рассказываете. И вы сами – не будь вы в таком смятении – почувствовали бы, как это неуместно – рассказывать человеку, который сидит в одиночестве и пьет водку, о любимой девушке.

Когда я это сказал, он вдруг сел, откинулся и плетьюми опустил руки. Потом, согнув в локтях, прижал их к себе и довольно громким голосом заговорил как бы с самим собой:

– Мы сидели там совсем одни... в комнате... с Аннерль, и я целовал ее... целовал... ее... в губы... целовал ухо... плечи.

Несколько мужчин, стоявших поблизости и решивших, что идет какой-то оживленный разговор, зевая, подошли к нам. Поэтому я встал и громко сказал:

– Хорошо, если вы хотите, я пойду, хотя глупо идти сейчас на Лаврентьеву гору, ведь погода еще холодная, а поскольку выпало немного снега, дороги скользкие как каток. Но если вы хотите, я пойду с вами.

Сперва он удивленно посмотрел на меня и открыл рот с широкими и красными влажными губами. Но затем, увидев мужчин, которые были уже совсем близко, засмеялся, встал и сказал:

– О, ничего, холод на пользу, наша одежда вся пропитана жаром и дымом, да и я, наверно, немного пьян, хотя пил мало, да, мы прощаемся и уйдем.

Мы подошли к хозяйке, и, когда он целовал ей руку, она сказала:

– Право, я рада, что сегодня у вас такое счастливое лицо, обычно оно серьезное и скупающее.

Доброта этих слов тронула его, и он еще раз поцеловал ей руку; она улыбнулась.

В передней стояла горничная, мы увидели ее сейчас в первый раз. Она подала нам пальто и взяла затем фонарик, чтобы осветить нам на лестнице. Девушка эта была красива. Шея у нее была обнажена и только под подбородком обвязана черной бархатной лентой, а ее просторно одетое тело красиво изгибалось, когда она спускалась перед нами по лестнице, светя фонариком. Ее щеки разругались, ибо она выпила вина, а ее губы были полукруглыми.

Внизу лестницы она поставила фонарик на ступеньку, пошатываясь, шагнула к моему знакомому и обняла и поцеловала его и задержалась в объятье. Лишь когда я вложил ей в руку монету, она сонно оторвалась от него, медленно открыла маленькую дверь подъезда и выпустила нас в ночь.

Над пустой, равномерно освещенной улицей стояла большая луна на слегка облачном и от этого еще более широком небе. Лежал снежок. Ноги при ходьбе скользили, поэтому надо было делать маленькие шаги.

Как только мы вышли на воздух, я заметно взбодрился. Я шаловливо задираю ноги, треща суставами, выкрикивал на всю улицу какое-то имя, словно от меня за углом скрылся приятель, подпрыгивая, бросал вверх шляпу и хвастливо подхватывал ее.

А мой знакомый невозмутимо шел рядом. Голова его была опущена. И он ничего не говорил.

Это удивило меня, ибо я ожидал, что радость выведет его из себя, когда вокруг него не станет людей. Я притих. Только я собрался одобрительно хлопнуть его по плечу, как меня охватил стыд, и я неловко отдернул руку. Поскольку она не была мне нужна, я сунул ее в карман пальто.

Итак, мы шли молча. Я следил за звуками наших шагов и не понимал, что мне невозможно идти с ним в ногу. Это немного волновало меня. Луна была ясная, все было видно отчетливо. Там и сям кто-нибудь глядел в окно и рассматривал нас.

Когда мы пришли на улицу Фердинанда, я заметил, что мой знакомый стал напевать какую-то мелодию; совсем тихо, но я услышал. Я нашел это оскорбительным для себя. Почему он не говорил со мной? А если он во мне не нуждался, почему он нарушил мой покой. Я с досадой вспомнил о славных сластях, которые я из-за него оставил на столике. Я вспомнил также о бенедиктине и немного повеселел,

почти, можно сказать, заважничал. Я подбоченился и вообразил, что гуляю по собственному почину. Я был в гостях, спас от позора одного неблагодарного молодого человека и теперь гуляю при луне. Весь день на службе, вечером в гостях, ночью на улице и ничего сверх меры. Беспредельно естественный образ жизни!

Однако мой знакомый ещё шел сзади, он даже ускорил шаг, заметив, что отстал от меня, и сделал вид, что это вполне естественно. А я подумал, не лучше ли мне свернуть в боковую улицу, ведь я же не обязан гулять вместе. Я могу пойти домой один, и никто не смеет задерживать меня. У себя в комнате я зажгу настольную лампу в железном корпусе, сяду в свое кресло, что стоит на драном восточном ковре... Когда я дошел до этой мысли, меня обуяла слабость, которая всегда нападает на меня, как только подумаю о том, чтобы снова пойти в свое жилье и снова в одиночестве проводить часы среди раскрашенных стен и на полу, который, если смотреть на него в зеркало с золотой рамой, висящее на задней стене, косо падает вниз. У меня устали ноги, и я уже готов был, во всяком случае, пойти домой и лечь в постель, как вдруг у меня возникло сомнение, надо ли при уходе прощаться со своим знакомым или нет. Но я был слишком робок, чтобы уйти не попрощавшись, и слишком слаб, чтобы попрощаться громко, поэтому я снова остановился, прислонился к стене дома, освещенной луной, и подождал.

Мой знакомый подошел бодрым шагом и, видимо, в некоторой степени озабоченный. Он засуетился, заморгал глазами, распростер руки, резко вскинул голову в мою сторону, желая, казалось, всем этим показать, что способен по достоинству оценить шутку, которую я выкинул здесь для его увеселения. Я был беспомощен и тихо сказал:

– Сегодня веселый вечер.

При этом я издал вымученный смешок. Он ответил:

– Да, а вы видели, как и горничная поцеловала меня? Я не мог говорить, ибо мое горло было полно слез, поэтому я попытался протрубить, как почтовый рожок, чтобы не оставаться немым. Он сперва заткнул уши, затем, любезно благодаря, пожал мне правую руку. Та, наверно, оказалась на ощупь холодной, ибо он сразу отпустил ее и сказал:

– У вас очень холодная рука, губы горничной были теплее, о да.

Я понимающе кивнул головой. Моля бога дать мне стойкость, я сказал:

– Да, вы правы, мы пойдем домой, уже поздно, а завтра утром мне идти на службу; представьте себе, можно и там поспать, но это не полагается. Вы правы, мы пойдем домой.

При этом я подал ему руку, словно дело окончательно решено. Но он с улыбкой подхватил мою манеру выражаться:

– Да, вы правы, такую ночь нельзя проспать в постели. Представьте себе, сколько счастливых мыслей душишь одеялом, когда спишь один в своей постели, и сколько несчастных снов согреваешь им.

И, радуясь этому наитию, он с силой схватил меня за пиджак на груди – выше он не доставал – и с горячностью потрянул меня; затем зажмурил глаза и доверительно сказал:

– Знаете, какой вы? Вы смешной.

При этом он зашагал дальше, а я пошел за ним, не заметив того, ибо меня занимало его суждение.

Сперва меня это обрадовало, ибо как бы показывало, что он предполагает во мне нечто такое, что во мне хоть и отсутствовало, но возвышало меня в его глазах тем, что он это предполагал. Такое отношение делало меня счастливым. Я был рад, что не пошел домой, и мой знакомый стал для меня очень ценным человеком, ведь он придавал мне перед людьми ценность без всяких моих усилий приобрести ее! Я смотрел на моего знакомого ласковыми глазами. Мысленно я защищал его от опасностей, особенно от соперников и ревнивцев. Его жизнь стала мне дороже моей собственной. Я находил его лицо красивым, я был горд его успехом у женского пола и участвовал в поцелуях, которые он в этот вечер получил от двух девушек. О, этот вечер был веселый! Завтра мой знакомый будет говорить с фрейлейн Анной; сперва, как водится, об обыкновенных вещах, а потом он вдруг скажет: «Вчера ночью я был в обществе одного человека, какого ты, милая Анна, наверняка никогда не встречала. Он на вид – как это описать? – как болтающаяся жердь, на которую несколько неловко насажена желтокожая и черноволосая голова. Его тело увешано множеством небольших, ярких, желтоватых лоскутков, которые вчера целиком прикрывали его, ибо в безветрии этой ночи гладко прилегали к нему. Он робко шел рядом со мной. Ты, моя милая Аннерль, ты, умеющая так хорошо целовать, ты, я знаю, немного посмеялась и немного испугалась бы, а я, чья душа сама не своя от любви к тебе, я радовался его присутствию. Он, может быть, несчастен, и поэтому он молчит, и все же при нем испытываешь непрекращающееся счастливое беспокойство. Ведь вчера я был сломлен собственным счастьем, но я чуть не забыл о тебе. Мне казалось, что с каждым вздохом его впалой груди поднимался твердый свод звездного неба. Горизонт распахнулся, и под пламенеющими облаками открылись те бесконечные дали, которые делают нас счастливыми... О небо, как я люблю тебя, Аннерль, и твой поцелуй мне милее всяческих далей. Не будем больше говорить о нем, а будем любить друг друга».

Когда мы, медленно шагая, вышли затем на набережную, я хоть и завидовал своему знакомому из-за поцелуев, но и радовался, что передо мной, каким я ему вижусь, ему, вероятно, должно быть стыдно.

Так думал я. Но мои мысли тогда пугались, ибо Влтава и городские кварталы на другом берегу были окутаны темнотой. Горело, играя с глядящими глазами, лишь несколько огней.

Мы остановились у ограды. Я надел перчатки, ибо от воды веяло холодом; затем я без причины вздохнул, как то хочется сделать у реки ночью, и хотел пойти дальше. Но мой знакомый смотрел в воду и не шевелился. Затем он подошел еще ближе к перилам, оперся локтями на железо и опустил лоб в ладони.

Это показалось мне глупым. Я замерз и поднял воротник пальто. Мой знакомый распрямился и перевесился через перила туловищем, которое держалось теперь на его напряженных руках. Я пристыженно поспешил заговорить, чтобы подавить зевоту:

– Правда ведь, удивительно, что именно только ночь способна целиком погрузить нас в воспоминания? Сейчас, например, мне вспоминается вот что. Однажды я сидел на скамейке на берегу реки в неудобной позе. Положив голову на руку, лежавшую на деревянной спинке скамейки, я смотрел на туманные горы другого берега и слышал нежную скрипку, на которой кто-то играл в прибрежной гостинице. По обоим берегам сновали поезда со сверкающим дымом.

Так говорил я, судорожно пытаюсь вообразить за словами какие-то любовные истории с занятыми положениями; не помешало бы и немного грубости, решительности, насилия.

Но не успел я произнести первые слова, как мой знакомый равнодушно и только удивившись, что я еще здесь, – так показалось мне – обернулся ко мне и сказал:

– Знаете, так всегда бывает. Когда я сегодня спускался по лестнице, чтобы еще прогуляться вечером, перед тем как пойти в гости, я удивился тому, как болтались мои красноватые руки в белых манжетах, и тому, что болтались они с необычной резвостью. Тут я стал ждать приключения. Так всегда бывает.

Последнее он сообщил уже на ходу, невзначай, как маленькое наблюдение. Меня же это очень тронуло, и я огорчился, что, может быть, ему неприятна моя долговязая фигура, рядом с которой он вполне мог показаться слишком маленьким. И это обстоятельство, хотя дело было ночью и мы почти никого не встречали, мучило меня так сильно, что я согнул спину настолько, что мои руки на ходу касались колен. Но чтоб мой знакомый не заметил моего умысла, я менял свою осанку очень постепенно, с большой осторожностью и старался отвлекать от себя его внимание замечаниями о деревьях на острове Стрелков и об отражении в реке фонарей моста. Но он вдруг резко повернулся лицом ко мне и снисходительно сказал:

– Почему вы так ходите? Вы же совсем сгорбились и стали ростом почти с меня.

Поскольку он сказал это любезно, я ответил:

– Это возможно. Но мне эта поза приятна. Я слабоват, знаете ли, и мне бывает слишком трудно держаться прямо. Это не пустяк, я очень длинный...

Он сказал несколько недоверчиво:

– Да это просто прихоть. Раньше же вы, по-моему, шли, выпрямившись во весь рост, да и в гостях вы держались сносно. Вы ведь даже танцевали – или нет? Нет? Но шли вы выпрямившись, и это вы, конечно, можете и сейчас.

Я ответил упорно и с отвергающим жестом:

– Да, да, я шел выпрямившись. Но вы недооцениваете меня. Я знаю, что такое хорошие манеры, и поэтому иду сгорбившись.

Но это не показалось ему простым, в смятении от своего счастья он не понял связи моих слов и сказал только:

– Ну, как знаете, – и посмотрел на часы Мельничной башни, которые показывали уже почти час ночи.

Я же сказал про себя: «Как бессердечен этот человек! Как характерно и явно его равнодушие к моим смиренным словам! Он счастлив, в этом все дело, и таково свойство счастливых – находить естественным все, что происходит вокруг них. Их счастье устанавливает во всем великолепную связь. И если бы я прыгнул сейчас в воду или если бы стал перед ним корчиться в судорогах на мостовой под этой аркой, то все равно бы я мирно вписался в его счастье. Да, если бы ему втемяшилось – счастливые настолько опасны, это несомненно, – он убил бы меня как бандит. Это не подлежит сомнению, и, поскольку я труслив, я от ужаса даже не осмелился бы закричать... О боже!»

Я в страхе огляделся. Перед отдаленной кофейней с прямоугольными черными окнами по мостовой скользил полицейский. Его сабля немного мешала ему, он взял ее в руку, и теперь дело пошло значительно лучше. А уж услышав издали, что он слабо вскрикивает, я окончательно убедился, что он меня не спасет, буде мой знакомый пожелает убить меня.

Зато теперь я знал, что мне делать, ибо как раз перед страшными событиями мною овладевает большая решительность. Мне следовало убежать. Это было очень легко. Теперь, у поворота налево к Карпову мосту, я мог шмыгнуть направо в Карпову улицу. Она была с закоулками, там было много темных подворотен и пивных, еще открытых сейчас; мне не следовало отчаиваться.

Когда мы вышли из-под арки в конце набережной, я с поднятыми руками побежал в эту улицу; но как раз добежав до маленькой двери церкви, упал, ибо там была ступенька, которой я не заметил. Упал я с грохотом. Ближайший фонарь был далеко, я лежал в темноте. Из пивной напротив вышла толстуха с закоптелым фонариком – посмотреть, что случилось на улице. Фортепианная игра прекратилась, и какой-то мужчина полностью распахнул полуоткрытую было дверь. Он великолепно харкнул на ступеньку и, щекоча толстуху между грудями, сказал, что происшедшее, во всяком случае, не имеет значения. Затем они повернулись, и дверь снова захлопнулась.

Попробовав встать, я снова упал. «Гололед», – сказал я и почувствовал боль в колене. Но все же меня радовало, что люди из пивной меня не увидели, и потому мне показалось самым удобным пролежать здесь до рассвета.

Мой знакомый дошел один, наверно, до моста, не заметив моего исчезновения, ибо ко мне он пришел не сразу. Я не видел, чтобы он был удивлен, когда сочувственно склонился ко мне и погладил меня мягкой рукой. Он провел по моим скулам вверх и вниз, а потом положил два толстых пальца на мой низкий лоб.

– Вы ушиблись, да? Гололед, надо быть осторожным... У вас болит голова? Нет? Ах, вот как.

Он говорил напевно, словно рассказывал историю, к тому же очень приятную историю об очень отдаленной боли в чьем-то колене. Он и руками двигал, но и не думал поднять меня. Я подпер себе голову правой рукой – локоть лежал на булыжнике – и быстро сказал, чтобы не забыть это:

– Не знаю, собственно, зачем я побежал направо. Но я увидел, как под аркадами этой церкви – не знаю, как она называется, о, пожалуйста, простите – бегают кошка, маленькая кошечка, и шерсть у нее была светлая. Поэтому я заметил ее... О нет, не в этом дело, извините, но достаточно трудно целый день владеть собой. Для того мы и спим, чтобы подкрепиться для этого труда, а если мы не спим, то с нами нередко случаются нелепые вещи, но было бы невежливо со стороны наших спутников громко этому удивляться.

Мой знакомый, держа руки в карманах, поглядел на пустой мост, на Конгрегационную церковь, затем на небо, которое было ясно. Поскольку он не слушал меня, он испуганно сказал:

– Ну, почему же вы не говорите, дорогой? Вам плохо?.. Ну, почему же вы, собственно, не встаете?.. Ведь здесь холодно, вы простудитесь, а потом ведь мы собирались на Лаврентьеву гору.

– Конечно, – сказал я, – простите, – и встал самостоятельно, но с сильной болью. Я шатался и должен был упереться взглядом в статую Карла Четвертого, чтобы узнать, где я нахожусь. Но лунный свет был неловок и привел в движение и Карла Четвертого. Я удивился, и мои ступни стали намного крепче от страха, что Карл Четвертый рухнет, если я не приму успокаивающей позы. Позднее мое усилие оказалось бесполезным, ибо Карл Четвертый все же упал, как раз когда мне подумалось, что меня любит девушка в красивом белом платье.

Я бьюсь напрасно и многое упускаю. Какая это счастливая была мысль насчет девушки!.. И как это мило было со стороны луны, что она освещала и меня, а я из скромности хотел стать под свод башни у моста, поняв, что это просто естественно, чтобы луна освещала все. Поэтому я с радостью распротер руки, чтобы полностью насладиться луной... Тут мне вспомнились стихи:

Я скакал через улицы,

Топаю по воздуху,

Как пьяный бегун, —

и мне сделалось легко, когда я, совершая вялыми руками плавательные движения, стал без боли и без труда продвигаться вперед. Моей голове было покойно в прохладном воздухе, а любовь одетой в белое девушки приводила меня в печальный восторг, ибо мне казалось, будто я улываю от влюбленной, а также от туманных гор ее края... И я вспомнил, что однажды возненавидел одного счастливого знакомого, который и сейчас, может быть, шел рядом со мной, и порадовался, что моя память так хороша, что в ней сохраняются даже такие второстепенные вещи. Ведь у памяти нагрузка большая. Вдруг я стал знать названия всего множества звезд, хотя никогда не заучивал их. Да, это были занятные названия, трудно запоминающиеся, но я знал все и очень точно. Высоко подняв указательный палец, я громко выкрикивал название каждой... Но я недолго называл звезды, ибо мне надо было плыть дальше, если я не хотел погрузиться слишком глубоко. Но чтобы мне потом не сказали, что плыть над мостовой может каждый и об этом не стоит рассказывать, я, взяв более быстрый темп, поднялся над перилами и вплавь кружил возле каждой статуи святого, которую встречал на пути... У пятой, как раз когда я рассчитанными взмахами задержался над мостовой, мой знакомый схватил мою руку. Теперь я снова стоял на мостовой и чувствовал боль в колене. Я уже забыл названия звезд, а относительно милой девушки помнил только, что на ней было белое платье, но никак не мог вспомнить, какие основания были у меня верить в ее любовь. Во мне поднялась большая и вполне основательная злость на свою память и страх, что я потеряю эту девушку. И я стал напряженно и непрерывно повторять «белое платье, белое платье», чтобы хотя бы с помощью одного этого признака сохранить ее для себя. Но это не помогло. Мой знакомый все ближе подступал ко мне со своими речами, и в тот миг, когда я начал понимать его слова, что-то белое изящно проскакало вдоль перил моста, пронеслось через мостовую башню и прыгнуло в темную улицу.

– Я всегда любил, – сказал мой знакомый, указывая на статую святой Людмилы, – руки этого ангела, слева. Их тонкость безгранична, и пальцы, которые напряжены, дрожат. Но с сегодняшнего вечера эти руки мне безразличны, можно сказать, ибо я целовал руки.

Тут он обнял меня, поцеловал мою одежду и прижался головой к моему туловищу.

Я сказал:

– Да, да. Я вам верю. Я не сомневаюсь, – и при этом щипал своими пальцами, когда он отпускал их, его икры. Но он этого не чувствовал. Тогда я сказал себе: «Почему ты идешь с этим человеком? Ты его не любишь и ненависти к нему тоже не питаешь, ибо счастье заключено только в девушке, и даже точно неизвестно, что она носит белое платье. Значит, этот человек тебе безразличен... повтори: безразличен. Но он и неопасен, как выяснилось. Поэтому иди с ним дальше на Лаврентьеву гору, ибо ты уже на пути туда прекрасной ночью, но не мешай ему говорить и развлекайся по-своему, этим – скажи это тихо – ты защитишь себя лучше всего».

Увеселения, или доказательство того, что жить невозможно

## 1. ЕЗДА ВЕРХОМ

С необычной ловкостью я уже вскочил на плечи своему знакомому и, толкая кулаками в спину, заставил его бежать рысцой. А когда он еще еренился и порой даже останавливался, я колотил его сапогами по животу, чтобы придать ему резвости. Это удалось, и мы с хорошей скоростью проникали все дальше в глубь большого, но еще недоделанного края, где был вечер.

Проселочная дорога, по которой я ехал, была камениста и заметно шла в гору, но как раз это мне нравилось, и я заставлял ее стать еще каменистей и круче. Стоило моему знакомому споткнуться, как я тянул его за волосы вверх, а стоило ему застонать, бил кулаками по голове. При этом я чувствовал, как полезна для моего здоровья эта вечерняя езда верхом в этом хорошем настроении, и, чтобы сделать ее еще бешеной, я напускал на нас долгие порывы встречного ветра. Теперь я еще и увеличивал на широких плечах своего знакомого подскоки при верховой езде и, обеими руками вцепившись в его шею, далеко запрокидывал голову и смотрел на разнообразные облака, которые слабей моего неуклюже летели по ветру. Я смеялся и дрожал от отваги. Мое пальто распахнулось и давало мне силу. При этом я крепко сцеплял руки, делая вид, будто не знаю, что тем самым душу своего знакомого.

А в небо, которое мне постепенно закрывали искривленные ветки деревьев, росших по моей воле по краю дороги, я в горячке движенья кричал:

– У меня же есть другие дела, кроме того, чтобы вечно слушать любовную дребедень. Почему он явился ко мне, этот болтливый влюбленный? Они все счастливы и становятся особенно счастливы, когда другой это знает. Они думают, что у них сейчас счастливый вечер, и уже потому радуются будущей жизни.

Тут мой знакомый упал, и, осмотрев его, я увидел, что у него тяжело ранено колено. Поскольку пользы от него больше не было, я оставил его на камнях и только свистком спустил с высоты несколько коршунов, которые послушно и со строгими клювами сели на него, чтобы его охранять.

## 2. ПРОГУЛКА

Я невозмутимо пошел дальше. Но, боясь, что пешком по гористой дороге идти будет тяжело, я заставил дорогу сделаться все более пологой и вдали наконец спуститься в равнину.

Камни исчезли по моей воле, ветер затих и потерялся в вечере. Я шел хорошим шагом, и так как я шел с горы, я поднял голову, подобрался и скрестил руки на затылке. Поскольку я люблю сосновые боры, я шел через сосновые боры, а поскольку мне нравится молча смотреть на звездное небо, звезды всходили для меня на широко распростершемся небе медленно и спокойно, как то вообще им свойственно. Я видел лишь отдельные вытянутые облака, которые гнал ветер, дувший только на их высоте.

Довольно далеко против моей дороги я поставил, вероятно, отделенную от меня рекой гору, вершина которой поросла кустарником и граничила с небом. Мне отчетливо были видны даже мелкие разветвления и движения самых высоких веток. Это зрелище, как оно ни заурадно, обрадовало меня настолько, что, качаясь птичкой на прутьях этих отдаленных взъерошенных кустов, я забыл приказать взойти луне, которая уже лежала за горой, досадуя, вероятно, на такую задержку.

Но тут прохладное сияние, предшествующее восходу луны, растеклось по горе, и вдруг луна сама поднялась за одним из беспокойных кустов. Я же в это время глядел в другую сторону, и, когда я теперь посмотрел вперед и вдруг увидел, как она светит уже почти всем своим кругом, я с помутневшими глазами остановился, ибо казалось, что моя наклонная дорога ведет прямо в эту пугающую луну.

Но вскоре я привык к ней и спокойно наблюдал, с каким трудом она всходит, пока наконец – а мы с ней прошли навстречу друг другу уже изрядное расстояние – не почувствовал приятной сонливости, которая напала на меня, как я думал, из-за тягот целого дня, которых я, правда, уже не помнил. Я шел некоторое время с закрытыми глазами, не засыпая только благодаря тому, что громко и равномерно хлопал в ладоши.

Но затем, когда дорога стала выскальзывать у меня из-под ног и вс?, устав, как и я, начало исчезать, я лихорадочно поспешил вскарабкаться на склон по правую сторону дороги, чтобы еще вовремя прийти в высокий, запутанный сосновый лес, где собирался проспать ночь. Нужно было спешить. Звезды уже темнели, и луна немощно тонула в небе, как в бурной воде. Гора была уже частью ночи, дорога пугающе кончалась там, где я повернулся к склону, а из глубины леса слышался приближающийся грохот падающих стволов. Теперь я мог бы сразу упасть в мох и заснуть, но, боясь муравьев, я, цепляясь за ствол ногами, взобрался на дерево, которое тоже уже шаталось без ветра, лег на ветку, привалил голову к стволу и торопливо уснул, а на дрожащем конце ветки сидела и качалась белочка моей прихоти с отвесным хвостом.

Я спал без сновидений и глубоко. Ни заход луны, ни восход солнца не разбудил меня. И даже когда я уже готов был проснуться, я успокоил себя, сказав: «Ты очень утомился за вчерашний день, поэтому побереги свой сон», – и уснул снова.

Но хотя мне ничего не снилось, была все же одна небольшая постоянная помеха моему сну. Всю ночь я слышал, как кто-то говорит рядом со мной. Самих слов я почти не слышал, кроме отдельных, как «скамейка на берегу реки», «туманные горы», «поезда со сверкающим дымом», слышал только их интонацию, и помню еще, что во сне потирал руки от радости, что мне не нужно различать отдельных слов, поскольку я именно сплю.

Перед полночью этот голос был очень веселым, обидным. Я испугался, ибо подумал, что кто-то подпиливает внизу мое дерево, которое уже раньше шаталось... После полуночи голос, посерьезнев, отступил и стал делать паузы между своими фразами, так что показалось,

Будто он отвечал на вопросы, которых я не задавал. Тут я почувствовал себя уютнее и осмелился вытянуться... Под утро голос становился все дружелюбнее. Ложе говорящего было, кажется, ничуть не надежнее моего, ибо теперь я заметил, что говорил он с соседних веток. Тут я осмелел и лег спиной к нему. Это, видимо, огорчило его, ибо он перестал говорить и молчал так долго, что утром, когда я уже совсем отвык от этого шума, разбудил меня тихим вздохом.

Я глядел в облачное небо, которое было не только над моей головой, но даже окружало меня. Облака были так тяжелы, что низко плыли над мхом, наталкивались на деревья, рвались о ветки. Иные на какое-то время падали на землю или повисали на деревьях, пока не дул и не гнал их дальше более сильный ветер. Большинство их несло еловые шишки, отломанные сучья, дымовые трубы, мертвую дичь, полотнища флагов, флюгера и другие, большей частью неузнаваемые предметы, которые они, плывя, захватили вдали.

Я сжался на своей ветке, стараясь оттолкнуть грозившие мне облака или увертываться от них, если они были широкие. Это был, однако, тяжелый труд для меня, пребывавшего еще в полусне и к тому же встревоженного вздохами, которые мне еще часто слышались. Но я с удивлением видел: чем уверенней становился я в своей жизни, тем выше и шире расстилалось небо, пока наконец после моего последнего зевка не открылась вновь местность прошлого вечера, которая лежала теперь под дождевыми облаками.

Эта так быстро возникшая широкость моего кругозора испугала меня. Я задумался, почему я пришел в этот край, дорог которого я не знал. Мне показалось, будто я забрел сюда во сне и, лишь проснувшись, понял весь ужас своего положения. Тут я, к счастью, услышал птицу в лесу, и меня успокоила мысль, что я ведь пришел сюда ради своего удовольствия.

– Твоя жизнь была однообразна, – сказал я вслух, чтобы убедить себя в этом, – тебя действительно нужно было куда-нибудь отвести. Можешь быть доволен, здесь весело. Солнце светит.

Тут засветило солнце, и дождевые облака стали белыми, легкими и маленькими на синем небе. Они блестели и вздымались. Я увидел реку в долине.

– Да, она была однообразна, ты заслуживаешь этого увеселения, – продолжал я словно по принуждению, – но не была ли она и в опасности?

Тут я услышал, как кто-то вздохнул до ужаса близко.

Я хотел быстро слезть, но, поскольку ветка дрожала так же, как моя рука, оцепенело упал с высоты. Я почти не ударился, и мне не было больно, но я почувствовал себя таким слабым и несчастным, что уткнулся лицом в траву, не находя в себе сил смотреть на земные вещи вокруг. Я был убежден, что каждое движение и каждая мысль вынужденны, что поэтому следует остерегаться их. Зато естественнее всего лежать здесь в траве, прижав руки к телу и спрятав лицо. И я уговаривал себя радоваться, что уже нахожусь в этом само собой разумеющемся положении, а то бы ведь мне понадобилось множество ухищрений, много всяких шагов и слов, чтобы в нем оказаться.

Но, недолго пролежав, я услышал, как кто-то плачет. Это происходило поблизости и потому раздражало меня. Раздражало так, что я стал думать, кто бы это мог плакать. Но едва я начал думать, как стал в злобном страхе ворочаться с такой силой, что вывалившись в хвое, скатился вниз, в пыль дороги. И хотя своими засоренными пылью глазами я видел все только так, словно это мне чудится, я сразу же побежал по дороге дальше, чтобы наконец уйти от всех призраков.

Я задыхался от бега и перестал владеть собой от смятения. Я видел, как поднимаются мои ноги с широко выпирающими коленными чашками, но уже не мог остановиться, ибо мои руки двигались взад-вперед, как при очень веселой прогулке, и голова у меня качалась. Тем не менее я холодно и отчаянно старался найти спасение. Тут я вспомнил о реке, которая должна была течь поблизости, и сразу же увидел у своих ног тропинку, которая сворачивала в сторону и действительно после нескольких прыжков через луг привела меня к берегу.

Река была широкая, и ее маленькие шумные волны были освещены. На другом берегу тоже были луга, переходившие потом в кустарник, за которым далеко вдали виднелись светлые аллеи плодовых деревьев, уходившие к зеленым холмам.

Обрадовавшись этому виду, я лег и, зажав себе уши из опасения услышать плач, подумал, что здесь могу успокоиться. Ведь здесь пустынно и красиво. Не нужно большого мужества, чтобы здесь жить. Здесь придется мучиться, как в любом другом месте, но при этом не придется красиво двигаться. Это не будет нужно. Ибо здесь только горы и большая река, и я еще достаточно умен, чтобы считать их необитаемыми. Да, спотыкаясь в одиночестве на поднимающихся в гору луговых тропках, я не буду более покинутым, чем эта гора, разве что буду чувствовать себя покинутым. Но думаю, что и это пройдет.

Так играл я со своей будущей жизнью и упорно пытался забыть. При этом я, шурясь, смотрел на то небо, что обладает необыкновенно счастливой окраской. Таким я уже давно не видел его, это тронуло меня и напомнило мне отдельные дни, когда я тоже думал, что вижу его таким. Я отнял ладони от ушей, развел руки в сторону и упал в травы.

Я услышал, как вдалеке кто-то тихо всхлипывает. Поднялся ветер, и с шорохом взлетели вороха сухих листьев, которых я прежде не видел. С плодовых деревьев бешено посыпались на землю незрелые плоды. Из-за какой-то горы поднялись безобразные облака. Волны реки скрипели и пятались от ветра.

Я быстро встал. У меня болело сердце, ибо теперь мне казалось невозможным выбраться из моих бед. Я уже хотел повернуть, чтобы покинуть эту местность и вернуться в свою прежнюю жизнь, как вдруг меня осенило: «Как замечательно, что в наше время благородных людей еще переправляют через реки таким нелегким способом. Ничем другим этого не объяснить, как тем, что это старый обычай». Я покачал головой, ибо был удивлен.

### 3. ТОЛСТЯК

а) Речь, обращенная к местности

Из кустов на другой берег вышло четверо могучих нагих мужчин, которые несли на плечах деревянные носилки. На этих носилках по восточному сидел невероятно толстый человек. Хотя его несли через кусты по бездорожью, он не раздвигал колючих веток, а спокойно расталкивал их своим неподвижным телом. Его складчатые массы жира были распластаны так тщательно, что целиком покрывали носилки и еще свисали по бокам, как края желтоватого ковра, чем, однако, ничуть не мешали ему. У него было бесхитрое выражение лица человека, который задумался и не старается скрыть это. Порой он закрывал глаза; когда он открывал их снова, подбородок его кривился.

– Эта местность мешает мне думать, – сказал он тихо, – из-за нее мои рассуждения качаются, как цепные мосты при яростном течении. Она красива и хочет поэтому, чтобы на нее смотрели.

Я закрываю глаза и говорю: ты, зеленая гора у реки, ты, у которой против воды есть скатывающиеся камни, ты красива.

Но она недовольна, она хочет, чтобы я открыл глаза и смотрел на нее.

А если я с закрытыми глазами скажу: гора, я тебя не люблю, ибо ты напоминаешь мне облака, вечерние зори и поднимающееся небо, а это вещи, которые заставляют меня чуть ли не плакать, ибо их не достигнуть тому, кого несут на маленьких носилках. А показывая мне все это, ты, коварная гора, заслоняешь мне даль, которая меня веселит, ибо в прекрасной обзорности показывает достижимое. Поэтому я не люблю тебя, гора у воды, нет, я не люблю тебя.

Но эта речь оставит ее такой же равнодушной, как прежняя, если я не буду говорить с открытыми глазами. Иначе она не будет довольна.

А разве мы не должны сохранять ее расположение к нам, чтобы вообще сохранить ее, питающую такое причудливое пристрастие к каше наших мозгов? Она обрушит на меня свои зубчатые тени, она молча выставит передо мной ужасно голые стены, и мои носильщики споткнутся о камешки на дороге.

Но не только гора так тщеславна, так назойлива и так потом мстительна, таково же и все другое. Поэтому я должен, округлив глаза – о, им больно, – повторять снова и снова:

«Да, гора, ты прекрасна, и меня радуют леса на твоём западном склоне... И тобою тоже, цветок, я доволен, и твой розовый цвет веселит мне душу... Ты, трава на лугах, уже высока и мощна и даришь прохладу... И ты, диковинный кустарник, укальываешь так неожиданно, что наши мысли сразу, рассеиваются. А к тебе, река, я питаю такую большую симпатию, что дам пронести себя через твою упругую воду».

Громко произнеся десять раз эту хвалебную речь, сопровождающуюся смиренными движениями его туловища, он опустил голову и с закрытыми глазами сказал:

– А теперь я прошу вас – гора, цветок, трава, кустарник и река, – дайте мне немного места, чтобы я мог дышать.

Тут произошло поспешное передвижение окрестных гор, которые оттеснились за пелены тумана. Аллеи хоть и остались на месте, как-то сохраняя ширину дороги, но заблаговременно расплылись: на небе перед солнцем стояло влажное облако с просвечивающими краями, в тени которого местность опускалась, а все предметы теряли свои прекрасные очертания.

Шаги носильщиков донесли до моего берега, однако в темном четырехугольнике их лиц я ничего не мог различить точнее. Я видел только, как они наклоняли головы вбок и как сгибали спины, ибо ноша у них была необыкновенная. Я забеспокоился за них, заметив, что они устали. Поэтому я пристально следил, когда они ступили на траву берега, а затем еще ровным шагом пошли по мокрому песку, пока наконец не погрузились в топкие заросли камыша, где оба задних носильщика согнулись еще ниже, чтобы сохранить носилки в горизонтальном положении. Я крепко сцепил пальцы. Теперь они при каждом шаге должны были высоко поднимать ноги, отчего их тела блестели от пота в прохладном воздухе этого изменчивого дня.

Толстяк сидел спокойно, положив руки на ляжки; длинные оконечности тростника хлестали его, распрямляясь за передними носильщиками.

Движения носильщиков становились все менее равномерными, по мере того как они приближались к воде. Порой носилки качались, словно они уже на волнах. Лужицы в камышах нужно было перепрыгивать или обходить, ибо они могли оказаться глубокими. Однажды поднялись с криком дикие утки и отвесно влетели в тучу. Тут я увидел в короткой гримасе лицо толстяка; оно было совсем беспокойно. Я встал и неуклюжими прыжками помчался по каменистому склону, который отделял меня от воды. Я не обращал внимания на то, что это было опасно, думая только о том, чтобы помочь толстяку, когда его слуги не смогут больше нести его. Я бежал так безрассудно, что не смог остановиться внизу у воды и, немного пробежав по всплеснувшей воде, остановился лишь там, где вода была уже мне по колено.

А на том берегу слуги, крючась, дошли с носилками до воды и, удерживаясь с помощью одной руки над беспокойной водой, подпирали носилки четырьмя волосатыми руками, так что были видны необычно поднятые мускулы.

Вода подступала сперва к подбородкам, затем поднялась к ртам, головы носильщиков запрокинулись, и носилки упали на плечи. Вода захлестывала уже переносицы, а они все еще не прекращали усилий, хотя не добрались и до середины реки. Тут на головы передних упала невысокая волна, и все четверо молча утонули, увлекая за собой носилки своими ручищами. Вода обвалом хлынула вслед.

Тут из краев большого облака пробился низкий свет вечернего солнца, он озарил холмы и горы на горизонте, в то время как река и местность под облаком были освещены смутно.

Толстяк медленно повернулся в направлении течения, и его понесло вниз по реке, как истукана светлого дерева, который оказался не нужен и брошен поэтому в реку. Он плыл по отражению тучи. Продолговатые облака тянули его, а маленькие сгорбившиеся толкали, что вызывало значительное волнение, которое было заметно даже по всплескам воды у моих колен и у камней берега.



Я быстро вскарабкался снова вверх по откосу, чтобы сопроводить толстяка на дороге, ибо я поистине любил его. И может быть, я смогу что-нибудь узнать насчет опасности этого с виду безопасного края. Я вышел на полосу песка, к узости которой надо было еще привыкнуть, руки в карманах, повернув лицо к реке под прямым углом, так что подбородок почти лежал у меня на плече.

На камнях берега сидели нежные ласточки.

Толстяк сказал:

– Дорогой сударь на берегу, не пытайтесь спасти меня. Это мечь воды и ветра; я пропал. Да, это мечь, ведь сколь часто мы: я и мой друг богомolec, нападали на эти вещи, когда пел наш клинок, сверкали кимвалы, великолепно сияли трубы и вспыхивали зарницы литавр.

Маленькая чайка с распластанными крыльями пролетела через его живот, отчего скорость ее не уменьшилась.

Толстяк продолжал:

б) Начало разговора с богомольцем

– Было время, когда я изо дня в день ходил в одну церковь, ибо девушка, в которую я был влюблен, вечерами молилась там на коленях по полчаса, и тогда я мог без помех глядеть на нее.

Когда однажды эта девушка не пришла и я недовольно смотрел на молящихся, мое внимание обратился на себя один молодой человек, распростершийся на полу всем своим худым телом. Время от времени он, напрягая все силы, поднимал голову и со вздохом бросал ее на прижатые к камням руки.

В церкви было лишь несколько старых женщин, которые часто склоняли и поворачивали свои закутанные головки, чтобы взглянуть на молящегося. Это внимание, казалось, осчастливило его, ибо перед каждым своим благочестивым приступом он проверял глазами, много ли людей на него смотрит.

Я нашел это неприличным и решил заговорить с ним, когда он уйдет из церкви, и выпытать у него, почему он молится таким образом. Да, я был раздражен, потому что моя девушка не пришла.

Но лишь через час он поднялся, истово перекрестился и порывисто двинулся к кружке. Я стал на его пути между кропильницей и дверью, зная, что не пропущу его без объяснений. Я скривил рот, как то всегда делаю для подготовки, когда решительно намерен поговорить. Я выставил вперед правую ногу и оперся на нее, а левую небрежно поставил на носок; это тоже придает мне твердость.

Возможно, что этот человек уже косился на меня, когда окроплял лицо святой водой, а может быть, с беспокойством заметил меня еще раньше, ибо теперь он неожиданно помчался к двери и прочь. Стеклянная дверь захлопнулась. И когда я сразу же вслед вышел за дверь, я уже не увидел его, ибо там было несколько узких улиц и место было людное.

В последующие дни он не появлялся, а моя девушка пришла. Она была в черном платье, отделанном по вороту прозрачными кружевами – под ними виднелся полумесяц выреза сорочки, – с нижнего края которых шелк ниспадал хорошо скроенным воротником. И поскольку девушка пришла, я забыл об этом молодом человеке и не интересовался им даже тогда, когда он потом опять регулярно являлся и молился по своему обыкновению. Но он всегда проходил мимо меня с большой поспешностью, отвернув лицо. Может быть, дело тут в том, что я всегда представлял его себе только в движении, и поэтому, даже когда он стоял, мне казалось, что он крадетя.

Однажды я замешкался у себя в комнате. Но я все-таки еще пошел в церковь. Девушки я там уже не застал и хотел пойти домой. Вдруг я увидел, что этот молодой человек опять лежит здесь. Теперь тот старый случай вспомнился мне и пробудил во мне любопытство.

Я на цыпочках проскользнул к дверям, дал монету слепому нищему, который там сидел, и притаился рядом с ним за открытым дверным створом. Я просидел там час, состроив, может быть, лукавую физиономию. Я чувствовал себя там хорошо и решил приходить сюда почаще. Но в ходе второго часа я нашел нелепым сидеть здесь из-за этого богомольца.

И все-таки я уже со злостью позволил паукам ползать по своей одежде и третий час, когда последние посетители, громко дыша, выходили из темноты церкви.

Тут он тоже появился. Он шел осторожно, и ноги его сперва как бы ощупывали пол, прежде чем наступить на него.

Я встал, сделал большой и прямой шаг и схватил молодого человека за воротник.

– Добрый вечер, – сказал я и, держа его за воротник, столкнул по ступенькам вниз на освещенную площадь.

Когда мы спустились, он сказал совершенно нетвердым голосом:

– Добрый вечер, дорогой-дорогой сударь, только не сердитесь на вашего покорнейшего слугу.

– Да, – сказал я, – я хочу кое-что спросить у вас, сударь, в прошлый раз вы улизнули от меня, сегодня это вам вряд ли удастся.

– Вы сердобольны, сударь, и отпустите меня домой. Меня можно пожалеть, это сущая правда.

– Нет, – закричал я под шум проезжавшего мимо трамвая, – я вас не отпущу! Как раз такие истории мне нравятся. Вы – счастливая находка. Я могу поздравить себя.

Тогда он сказал:

– Ах, боже мой, у вас резвое сердце и голова как болванка. Вы называете меня счастливой находкой, как же вы должны быть счастливы! Ведь мое несчастье – это несчастье зыбкое, несчастье, зыблющееся на острие, и если дотронуться до него, оно падет на расспрашивающего. Спокойной ночи, сударь.

– Хорошо, – сказал я и схватил его правую руку, – если вы не ответите мне, я начну кричать здесь, на улице. И сбегутся все продавщицы, которые сейчас выходят из магазинов, и все их любовники, которые с радостью ждут их, ибо они подумают, что упала какая-нибудь лошадь, запряженная в дрожки, или случилось еще что-нибудь в этом роде. Тогда я покажу вас людям.

Тут он, плача, поочередно поцеловал обе мои руки.

– Я скажу вам то, что вы хотите узнать, но лучше, пожалуйста, пройдем вон в тот переулок.

Я кивнул головой, и мы пошли туда.

Но он не удовольствовался темнотой переулочка, где были только далеко отстоящие друг от друга желтые фонари, а завел меня в низкий подъезд какого-то старого дома под висевший перед деревянной лестницей фонарик, из которого капало.

Там он церемонно взял свой носовой платок и, расстелив его на ступеньках, сказал:

– Садитесь, дорогой сударь, так вам будет удобнее спрашивать, я постою, так мне будет удобнее отвечать. Только не мучайте меня.

Я сел и, подняв на него прищуренные глаза, сказал:

– Вы самый настоящий сумасшедший, вот вы кто! Как вы ведете себя в церкви! Как это смешно и как неприятно присутствующим! Как можно испытывать благоговение, если приходится смотреть на вас.

Он прижался к стене, только головой он двигал свободно.

– Не сердитесь... зачем вам сердиться из-за вещей, которые не имеют к вам отношения. Я сержусь, когда веду себя неподобающе, а когда кто-нибудь другой ведет себя плохо, я радуюсь. Не сердитесь поэтому, если я скажу, что в том и состоит цель моих молитв, чтобы люди смотрели на меня.

– Что вы говорите, – воскликнул я донельзя громко для низкого прохода, но побоялся понизить голос, – в самом деле, что вы говорите! Да, я догадываюсь, да, я догадывался, с тех пор как увидел вас, в каком состоянии вы находитесь. У меня есть опыт, и я вовсе не в шутку скажу вам, что это какая-то морская болезнь на суше. Природа болезни такова, что вы забыли истинные имена вещей и теперь поспешно осыпаете их случайными именами. Только бы побыстрее, только бы побыстрее! Но едва убежав от них, вы снова забываете их названия. Тополь в полях, который вы назвали «Вавилонская башня», ибо не знали или не желали знать, что это был тополь, снова качается безымянно, и вы называете его «Ной во хмелю».

Я немного смутился, когда он сказал:

– Я рад, что не понял того, что вы сказали. Волнуясь, я быстро сказал:

– Тем, что вы этому рады, вы показываете, что поняли меня.

– Верно, я это показал, милостивый государь, но и вы говорили странно.

Я положил ладони на верхнюю ступеньку, откинулся назад и в этой почти неприступной позе, которая служит борцам последним спасением, сказал:

– Веселый у вас способ спасать себя: вы предполагаете ваше состояние у других.

После этого он стал храбрее. Он сложил руки, чтобы придать единство своему телу, и с легким внутренним сопротивлением сказал:

– Нет, я же поступаю так не со всеми, и с вами, например, тоже не поступлю так, потому что не могу. Но я был бы рад, если бы мог, ибо тогда мне уже не нужно было бы внимание людей в церкви. Знаете, почему оно нужно мне?

Этот вопрос поставил меня в тупик. Конечно, я этого не знал и думаю, что и не хотел знать. Я же и сюда приходить не хотел, сказал я себе тогда, но этот человек заставил меня слушать его. Мне достаточно было только покачать головой, чтобы показать ему, что я не знал этого, но я не мог и шевельнуть головой.

Человек, стоявший передо мной, улыбнулся. Затем он, сжимаясь, опустился на колени и заговорил сонливым голосом:

– Никогда не бывало такого времени, чтобы благодаря самому себе я был убежден в том, что в самом деле вижу. Все вещи вокруг я представляю себе настолько хрупко, что мне всегда кажется, будто они жили когда-то, а теперь уходят в небытие. Всегда, дорогой сударь, я испытываю мучительное желание увидеть вещи такими, какими они, наверно, видятся, прежде чем показать себя мне. Они тогда, наверно, прекрасны и спокойны. Так должно быть, ибо я часто слышу, что люди говорят о них в этом смысле.

Поскольку я молчал и лишь невольными вздрагиваниями лица показывал, как мне тягостно, он спросил:

– Вы не верите в то, что люди так говорят? Я счел нужным кивнуть головой, но не смог.

– Правда, вы в это не верите? Ах, послушайте, однажды в детстве, открыв глаза после короткого послеобеденного сна, я, еще совсем

«Я пью кофе на лоне природы». Она сказала это не задумавшись и не слишком отчетливо, словно каждый должен был этого ожидать. Женщина ответила из сада:

«Я пью кофе на лоне природы». Она сказала это не задумавшись и не слишком отчетливо, словно каждый должен был этого ожидать.

Я решил, что мне задают вопрос. Поэтому я полез в задний карман штанов и сделал вид, будто что-то ищу там. Ноя ничего не искал, я хотел только изменить свой вид, чтобы показать свое участие в разговоре. При этом я сказал, что этот случай очень любопытен, и что я совершенно не понимаю его. Я прибавил также, что не верю в его подлинность, и что он, вероятно, выдуман с какой-то определенной целью, которая мне-то и непонятна. Затем я закрыл глаза, ибо они у меня болели.

– О, это хорошо, что вы разделяете мое мнение, и никакого своекорыстия не было в том, что вы задержали меня, чтобы сказать мне это.

Не правда ли, почему я должен стыдиться или почему должны мы стыдиться – того, что хожу я не выпрямившись и тяжело, не стучу палкой о мостовую и не задеваю одежды громко проходящих мимо людей. Не вправе ли я, наоборот, упорно жаловаться на то, что как тень, съезжившись, шмыгаю вдоль домов, иногда исчезая в стеклах витрин?

Какие дни я провожу! Почему все построено так скверно, что порой рушатся высокие дома, а внешней причины на то найти невозможно. Я лажу потом по кучам щебня и спрашиваю каждого, кого встречу: «Как это могло случиться? В нашем городе... Новый дом... Сегодня это уже пятый... Подумайте только». Тут мне никто не может ответить.

Часто падают люди на улице и остаются лежать мертвыми. Тогда лавочники открывают свои завешанные товарами двери, проворно прибегают, уносят мертвеца в какой-то дом, выходят затем, улыбаясь ртом и глазами, и говорят: «Добрый день!.. Небо пасмурное... Головные платки... идут хорошо... Да, война». Я шмыгаю в этот дом и, робко подняв несколько раз руку с согнутым пальцем, стучу наконец в окошечко привратника. «Дорогой, – говорю я приветливо, – к вам принесли покойника. Покажите мне его, прошу вас». И когда он качает головой, словно в нерешительности, я говорю твердо:

«Дорогой. Я из тайной полиции. Покажите мне мертвеца сию же минуту». – «Мертвеца? – спрашивает он теперь почти обиженно. – Нет, у нас здесь никакого мертвеца нет. Это приличный дом». Я прощаюсь и ухожу.

А потом, когда мне нужно пересечь большую площадь, я все забываю. Трудность этого предприятия приводит меня в замешательство; и я часто думаю про себя: «Если такие большие площади строят только от зазнайства, почему бы не строить и каменных перил, которые бы вели через площадь?» Сегодня дует юго-западный ветер. Воздух на площади волнуется. Башенный шпиль ратуши описывает маленькие круги. Почему не утихомят эту сутолоку? Что это за шум такой! Все оконные стекла звенят, а столбы фонарей гнутся, как бамбук. Плащ святой Марии на колонне надувается, и бушующий воздух хочет сорвать его. Неужели никто этого не видит? Господа и дамы, которым следовало бы идти по камням, плывут по воздуху. Когда от ветра спирает дыхание, они останавливаются, перекидываются несколькими словами и кланяются в знак приветствия, а когда ветер ударяет снова, они не могут сопротивляться ему и все одновременно поднимают ноги.

Хоть они и должны придерживать свои шляпы, глаза их глядят весело, словно погода стоит ласковая. Только мне страшно. Протестуя против такого обращения со мной, я сказал:

– Историю, которую вы раньше рассказали мне о своей матери и женщине в саду, я вовсе не нахожу любопытной. Я не только слышал и наблюдал множество подобных историй, в некоторых я даже участвовал. Это же дело вполне естественное. Думаете, будь я на балконе, я не мог бы сказать того же, а из сада ответить так же? Простейший случай!

Когда я сказал это, он показался очень счастливым. Он сказал, что я красиво одет и ему очень нравится мой галстук. И какая у меня нежная кожа! И что признания становятся особенно ясны, когда их опровергают.

в) История богомольца

Потом он сел рядом со мной, ибо я оробел, я освободил ему место, склонив голову в сторону. Тем не менее от меня не ускользнуло, что и он сидел в каком-то смущении, все время старался держаться на маленьком расстоянии от меня и говорил с трудом:

– Какие дни я провожу! Вчера вечером я был в гостях. Я только поклонился при газовом свете барышне со словами:

«Я, право, рад, что дело уже идет к зиме», – только я поклонился с этими словами, как вдруг, к своей досаде, заметил, что правое бедро у меня вывихнуто. И коленная чашка тоже чуть-чуть расширилась.

Поэтому я сел и сказал – ведь я всегда стараюсь сохранить связь между своими фразами: «Ибо зимой живет с гораздо меньшим трудом, легче вести себя как следует, не надо так напрягаться из-за своих слов. Не правда ли, милая барышня? Надеюсь, я прав в этом вопросе». При этом правая моя нога причиняла мне много неприятностей. Ибо сперва казалось, что она совсем распалась на части, и лишь постепенно, путем сжиманий и целенаправленных смещений, я привел ее более или менее в порядок.

Тут я услышал, как девушка, которая из сочувствия тоже села, тихо говорит:

– Нет, вы мне совсем не импонируете, ибо...

– Погодите, – сказал я удовлетворенно и с надеждой, – вы не должны, милая барышня, тратить и пяти минут на то, чтобы говорить со мной. Кушайте между словами, прощу вас.

Я протянул руку, взял пышную гроздь винограда, свисавшую с чаши, приподнятой бронзовым ангелочком, подержал ее в воздухе, затем положил на тарелочку с синей каемкой и не без изящества подал девушке.

– Вы совсем не импонируете мне, – сказала она, – все, что вы говорите, скучно и непонятно, но от этого не верно. Я думаю, сударь, – почему вы все время называете меня «милая барышня» – я думаю, вы только потому избегаете правды, что она для вас слишком трудна.

Боже, тут я взыграл!

– Да, барышня, барышня, – чуть ли не закричал я, – как вы правы! Милая барышня, поймите, это огромная радость, когда ты вдруг оказываешься в такой степени понят, хотя вовсе не стремился к тому.

– Правда слишком трудна для вас, сударь, ведь какой у вас вид! Вы во всю свою длину вырезаны из папиросной бумаги, из желтой папиросной бумаги, силуэтом, и когда вы ходите, вы должны шелестеть. Поэтому не стоит волноваться из-за ваших манер или вашего мнения, вы же должны сгибаться от сквозняка, который сейчас как раз продувает комнату.

– Я этого не понимаю. Вот здесь в комнате стоят там и сям разные люди. Они охватывают руками спинки стульев, или прислоняются к пианино, или медленно подносят к губам бокал, или робко уходят в соседнюю комнату, и когда ушибут в темноте правое плечо о шкаф, думают, дыша у открытого окна: «Вон там Венера, вечерняя звезда. А я здесь в гостях. Если тут есть какая-то связь, я не понимаю ее. Но я даже не знаю, есть ли тут связь». И видите, милая барышня, из всех этих людей, которые соответственно такой для себя неясности ведут себя так по-разному, так даже смешно, я один кажусь достойным услышать о себе нечто совершенно ясное. А чтобы это было к тому же начинено приятностью, вы говорите это насмешливо, так что замечаешь еще что-то, как сквозь величавые стены выгоревшего внутри дома. Для взгляда тут почти нет преград, днем сквозь большие дыры окон видишь облака неба, а ночью звезды... Что, если я в благодарность за это поведаю вам, что когда-нибудь все люди, которые хотят жить, будут на вид такими же, как я; такими силуэтами, вырезанными из желтой папиросной бумаги, – как вы заметили, – и при ходьбе они будут шелестеть. Они не будут иными, чем теперь, но вид у них будет такой. Даже у вас, милая...

Тут я заметил, что девушка уже не сидит рядом со мной. Ушла она, должно быть, после своих последних слов, ибо теперь она стояла далеко от меня у окна в окружении трех молодых людей, которые, смеясь, что-то говорили из высоких белых воротников.

Затем я с удовольствием выпил бокал вина и пошел к пианисту, который в полном одиночестве играл сейчас, кивая головой, какую-то печальную пьесу. Я осторожно склонился к его уху, чтобы он только не испугался, и тихо сказал под мелодию пьесы:

– Будьте так добры, многоуважаемый сударь, пустите теперь поиграть меня, ибо я намерен быть счастливым.

Поскольку он не слушал меня, я постоял некоторое время в смущении, а потом, подавляя свою застенчивость, стал ходить от одного гостя к другому и невзначай говорил:

– Сегодня я буду играть на пианино. Да.

Все, казалось, знали, что я не умел играть, но любезно смеялись по поводу этого приятного вторжения в их разговоры. Но совсем внимательны стали они лишь тогда, когда я очень громко сказал пианисту:

– Будьте так добры, многоуважаемый сударь, пустите теперь поиграть меня. Я, понимаете ли, намерен быть счастливым. Речь идет о некоем триумфе.

Пианист хоть и прислушался, но не покинул своей коричневой скамеечки, да, казалось, и не понимал меня. Он вздохнул и закрыл лицо своими длинными пальцами.

Я уже посочувствовал ему и хотел подбодрить его, чтобы он продолжил игру, когда подошла хозяйка с группой гостей.

– Это смешная затея, – сказали они и громко засмеялись, словно я хотел совершить что-то противоестественное.

Девушка тоже подошла, презрительно посмотрела на меня и сказала:

– Пожалуйста, сударыня, позвольте ему поиграть. Он, может быть, хочет как-то развлечь нас. Это похвально. Пожалуйста, сударыня.

Все громко обрадовались, явно, как и я, полагая, что это говорится иронически. Только пианист безмолвствовал. Он сидел с опущенной головой и водил указательным пальцем левой руки по дереву скамеечки, словно рисуя на песке. Я стал дрожать и, чтобы скрыть это, сунул руки в карманы штанов, и говорить отчетливо я не мог, ибо все мое лицо готово было заплакать. Поэтому я должен был выбирать слова так, чтобы мысль, что я готов заплакать, показалась слушателям смешной.

– Сударыня, – сказал я, – я должен сейчас поиграть, ибо...

Забыв причину, я внезапно сел за пианино. Тут я снова понял свое положение. Пианист встал и деликатно перешагнул через скамеечку, ибо я загородил ему дорогу.

– Погасите, пожалуйста, свет, я могу играть только в темноте.

Я выпрямился.

Тут два господина взяли за скамеечку и понесли меня к находившемуся очень далеко от пианино обеденному столу, насвистывая какую-то песенку и немного качая меня.

Все смотрели одобрительно, а барышня сказала:

– Видите, сударыня, он недурно сыграл. Я это знала. А вы так боялись.

Я понял и поблагодарил поклоном, который мне удался.

Мне налили лимонаду, и какая-то барышня с красными губами поила меня из стакана. Хозяйка подала мне на серебряной тарелке печенье из взбитых белков, и какая-то девушка в совершенно бlose платье совала мне его в рот; Пышная барышня с копной светлых волос держала надо мной гроздь винограда, и мне надо было только отрывать ягоды, а она в это время смотрела мне в закатившиеся глаза.

Поскольку все так хорошо обращались со мной, меня удивило, что они единодушно стали меня удерживать, когда я опять устремился к пианино.

– Хватит уже, – сказал хозяин, которого я дотеле не замечал. Он вышел и тотчас вернулся с чудовищным цилиндром и медно-коричневым пальто в цветочках. – Вот ваши вещи.

Это были, правда, не мои вещи, но мне не хотелось утруждать его снова. Хозяин сам надел на меня пальто, которое пришлось как раз впору, плотно прижавшись к моему тощому телу. Какая-то дама с добрым лицом, постепенно нагибаясь, застегнула на мне пальто сверху донизу.

– Итак, прощайте, – сказала хозяйка, – и приходите вскоре опять. Вы всегда желанный гость, вы это знаете.

Тут все общество поклонилось, словно так полагалось. Я тоже попробовал поклониться, но мое пальто было слишком тесно. Поэтому я взял шляпу и, вероятно, слишком неловко вышел за дверь.

Но когда я шажком вышел из подъезда, на меня нагрянули небо с луной, звездами и большим сводом и Кольцевая площадь с ратушей, Мариинской колонной и церковью.

Я спокойно вышел из тени на лунный свет, расстегнул пальто и согрелся; затем, подняв руки, заставил смолкнуть свист ночи и начал размышлять.

«С чего это вам делать вид, будто вы действительно существуете? Вы хотите меня уверить, что в действительности не существует меня, смешно стоящего на зеленой мостовой? Но уже прошло много времени, с тех пор как ты, небо, действительно существуешь, а тебя, Кольцевая площадь, в действительности никогда не было.

Верно, у вас все еще есть превосходство надо мной, но только тогда, когда я вас оставляю в покое.

Слава богу, луна, ты уже не луна, но, может быть, это небрежность с моей стороны, что я все еще называю луной тебя, луна лишь по прозвищу. Почему ты уже не так высокомерна, когда я называю тебя „бумажный фонарь странного цвета“? И почему ты почти ретируешься, когда я называю тебя „Мариинская колонна“, и я уже не узнаю твоей угрожающей позы, Мариинская колонна, когда называю тебя „Луна, светящая желтым светом“?

Кажется, и в самом деле, вам не на пользу, когда о вас размышляют, у вас убывают храбрость и здоровье.

Боже, как же это, наверно, полезно, если размышляющий учится у пьяного!

Почему все стихло? Мне кажется, прекратился ветер. И домишки, которые часто катят по площади на колесиках, стоят как вкопанные... Тихо... тихо... совершенно невидимой тонкой чертой, что обычно отделяет их от земли».

И я побежал. Я трижды обежал без помех большую площадь и, поскольку не встретил ни одного пьяного, побежал, не теряя скорости и не чувствуя напряжения, к Карповой улице. Моя тень, часто меньше меня, бежала рядом со мной по стене, словно в ложбине между домами и тротуаром.

Пробегая мимо дома пожарной команды, я услышал со стороны малого кольца шум и, когда свернул туда, увидел у решетки фонтана пьяного, который стоял, разведя руки в стороны, и топтал землю ногами в деревянных башмаках.

Я сперва остановился, чтобы отдышаться, затем подошел к нему, снял с головы цилиндр и представился:

– Добрый вечер, ваше нежное благородие, мне двадцать три года, но у меня нет имени. Вы же, конечно, прибыли с поразительным, даже певучим именем из этого большого города Парижа. Вас овеивает запах беспутного двора Франции.

Вы, конечно, видели своими подведенными глазами тех великих дам, которые, иронически повернувшись в осиной талии, уже стоят на высокой и светлой террасе, тогда как конец их расстилающегося по лестнице расписного шлейфа еще лежит на песке сада. Не правда ли, по равномерно расставленным шестам карабкаются вверх слуги в серых, дерзко скроенных фраках и белых штанах, обвивая ногами шест, а туловище часто откидывая назад и в сторону, ибо они должны поднять за толстые веревки с земли и натянуть наверху огромные серые полотнища, потому что великая дама пожелала туманного утра.

Поскольку он рыгнул, я почти испуганно спросил:

– Это же правда, сударь, вы явились сюда из нашего Парижа, из бурного Парижа, из этой романтической бури с градом?

Когда он снова рыгнул, я смущенно сказал:

– Я знаю, мне выпала большая честь. И, застегнув пальто быстрыми пальцами, я заговорил пылко и робко:

– Я знаю, вы считаете меня недостойным ответа, но меня ждала бы плачевная жизнь, если бы я не спросил вас сегодня.

Прошу вас, нарядный сударь, правда ли то, что мне рассказывали? Есть в Париже люди, которые состоят лишь из разукрашенных одежд, и есть там дома, в которых нет ничего, кроме порталов, и правда ли, что в летние дни небо над городом переливчато-синее, но украшено прижатыми белыми облачками и что все до одного в форме сердечка? И есть там пользующийся большим успехом паноптикум, где стоят только деревья, на которые навешены таблички с именами самых знаменитых героев, преступников и влюбленных?

И потом еще эти сведения? Эти явно лживые сведения!

Не правда ли, эти улицы Парижа вдруг разветвляются; они беспокойны, не правда ли? Не всегда все в порядке, да и как это может быть! Бывают несчастные случаи, собираются люди, приходя с соседних улиц столичным шагом, едва прикасающимся к мостовой; всем любопытно, но все и боятся, что будут разочарованы; они быстро дышат и выпячивают свои маленькие головы. Но, прикоснувшись друг к другу, они низко кланяются и просят прощения. «Очень сожалею... это вышло нечаянно... страшная давка, простите, прошу вас... это получилось очень неловко с моей стороны... признаю. Меня зовут... меня зовут Жером Фарош, я бакалейщик с рю де Каботэн... позвольте пригласить вас отобедать у меня завтра... Моя жена тоже была бы очень рада». Так они говорят, а улица оглушена, и дым из труб ложится между домами. Ведь так оно бывает. А возможно ли, чтобы на оживленном бульваре аристократического квартала остановились вдруг две коляски? Слуги с серьезным видом открывают дверцы. Выскакивают восемь благородных сибирских волкодавов и с лаем прыжками несутся по мостовой. Так вот, говорят, что это переодетые молодые парижские франты.

Глаза его были почти закрыты. Когда я умолк, он засунул в рот обе руки и рванул нижнюю челюсть. Вся его одежда была замарана. Его, может быть, вышвырнули из пивной, а он еще не уяснил себе этого.

Был, наверно, тот короткий, вполне спокойный перерыв между днем и ночью, когда голова у нас неожиданно для нас повисает и когда все, хотя мы этого не замечаем, останавливается, ибо мы ни на что не глядим, и потом исчезает. А мы, согнувшись, остаемся в одиночестве, затем озираемся, но уже ничего не видим, даже сопротивления воздуха уже не чувствуем, но внутренне твердо помним, что на определенном расстоянии от нас стоят дома с крышами и, к счастью, коленчатыми дымоходами, через которые темень втекает в дома, через чердачные клетушки в многообразные комнаты. И это счастье, что завтра будет день, когда, как это ни невероятно, можно будет все видеть.

Тут пьяный вскинул брови так, что между ними и глазами возникло сиянье, и с паузами сообщил:

– Вот, понимаете, какое дело... меня, понимаете, клонит ко сну, поэтому я пойду спать... У меня, понимаете, есть зять на Вацлавской площади... туда я и пойду, потому что там я живу, потому что там у меня есть постель... сейчас я пойду... Я только, понимаете, не помню, как его зовут и где он живет... мне кажется, я это забыл... Но это ничего, ведь я даже не помню, есть ли у меня вообще зять... Теперь, понимаете, пойду... Думаете, я найду его?

На это я отвечал без раздумья:

– Несомненно. Но вы из чужих краев, и ваши слуги случайно не с вами. Позвольте мне проводить вас.

Он не ответил. Я жестом предложил ему взять меня под руку.

г) Продолжение разговора между толстяком и богомольцем

А я уже некоторое время пытался взбодриться. Я растирал свое тело и говорил себе: «Пора тебе что-то сказать. Ты ведь уже смутился. Ты чувствуешь себя угнетенно? Подожди! Тебе же знакомы такие положения. Подумай не спеша! Твое окружение тоже подождет.

Вс? как в гостях на прошлой неделе. Кто-то что-то читает по списанному откуда-то тексту. Одну страницу я сам списал по его просьбе. Прочитав подпись под страницами, которые написаны им, я пугаюсь. Это ни в какие ворота не лезет.

Люди склоняются над этим с трех сторон стола. Я, плача, клянусь, что это не моя подпись.

Но чем это похоже на сегодняшнее? Ведь это только от тебя зависит, чтобы завязался целенаправленный разговор. Все мирно. Сделай над собой усилие, милый мой!.. Ты ведь найдешь какую-нибудь отговорку... Ты можешь сказать: „Меня клонит ко сну. У меня болит голова. Прощайте“. Быстрее, быстрее же. Напомни о себе!.. Что такое? Опять сплошные препятствия? Что ты вспоминаешь?.. Я вспоминаю плоскогорье, которое поднималось к большому небу, как щит Земли. Я увидел его горы и приготовился пройти по нему. Я начал петь».

Мои губы были сухи и не слушались меня, когда я сказал:

– Разве нельзя жить по-другому?

– Нет, – сказал он с вопросом, с улыбкой.

– Но почему вы по вечерам молитесь в церкви? – спросил я тогда, и между мною и им рухнуло все, что я дотолкал как во сне подпирал.

– Нет, зачем нам об этом говорить. По вечерам никто, если он живет один, не несет ответственности. Боишься многого. Что, может быть, исчезнет телесность, что люди действительно таковы, какими они кажутся в сумерках, что нельзя выйти без палки, что надо, может быть, пойти в церковь и громко молиться, чтобы на тебя смотрели и ты обрел тело.

Оттого что он так говорил, а потом умолк, я вынул из кармана свой красный платок и заплакал сгорбившись.

Он встал, поцеловал меня и сказал:

– Почему ты плачешь? Ты высокого роста, я люблю тебя, у тебя длинные пальцы, которые тебя почти слушаются, почему ты не радуешься этому? Носи всегда темные манжеты, вот тебе мой совет... Нет... я лщу тебе, а ты все-таки плачешь? Ведь эту тягость жизни ты сносишь вполне здраво.

Мы строим ненужные, собственно, машины для войны, башни, стены, занавесы из шелка, и мы могли бы всячески удивляться этому, будь у нас на то время. И мы держимся на весу, мы не падаем, мы порхаем, хотя мы и безобразнее, чем летучие мыши. И уже вряд ли кто помешает нам в один прекрасный день сказать: «Ах, боже мой, сегодня прекрасный день». Ибо мы уже устроились на своей земле и живем на основе своего согласия.

Мы же как пеньки на снегу. На вид они просто лежат сверху, кажется, что их можно сдвинуть легким толчком. Но нет, нельзя, ибо они прочно связаны с почвой. Но даже это всего лишь видимость.

Плакать мешали мне размышления: «Сейчас ночь, и никто завтра не упрекнет меня за то, что я скажу сейчас, ибо это могло быть сказано во сне».

Затем я сказал:

– Да, вс? так и есть, но о чем же мы говорили? Мы же не могли говорить об освещении неба, поскольку стоим в глубине подъезда. Нет... все-таки мы могли говорить об этом, ибо разве мы не совершенно независимы в своем разговоре, если стремимся не к какой-то цели и какой-то истине, а только к шутке и развлечению. Но не могли бы вы мне все-таки еще раз рассказать историю о женщине в саду. Как восхитительна, как умна эта женщина! Мы должны вести себя по ее примеру. Как она нравится мне! И еще хорошо, что я встретил вас и подстерег. Для меня было большим удовольствием поговорить с вами. Я услышал кое-что, чего прежде, может быть, намеренно не ведал... я рад.

У него был довольный вид. Хотя соприкосновение с человеческим телом мне всегда неприятно, я должен был обнять его.

Затем мы вышли из подъезда под небо. Несколько разрозненных облачков мой друг сдул, так что теперь нам предстала непрерывная равнина звезд. Мой друг шел с трудом.

д) Гибель толстяка

Тут вс? обуяла скорость, и вс? покатилося вдаль. Воду реки потянул вниз обрыв, она попыталась задержаться, побарахтаться на крошащемся краю, но потом рухнула валами и дымом брызг.

Толстяк не мог больше говорить, он вертелся и исчезал в громком стремительном водопаде.

Я, изведавший столько увеселений, стоял на берегу и видел это.

– Что делать нашим легким, – закричал я, – если не будете дышать быстро, – кричал я, – вы задохнетесь сами по себе, от внутренних ядов. Если вы будете дышать медленно, вы задохнетесь от воздуха, негодного для дыхания, от возмущенных вещей. Если же вы станете искать нужный темп, то погибнете из-за самих поисков.

При этом берега реки безмерно расширились, и все же я коснулся ладонью железной плоскости крошечного издали дорожного указателя. Это было мне не совсем понятно. Я же был малого роста, чуть не меньше, чем обычно, и куст с белыми ягодами, который очень быстро качался, был гораздо выше меня. Я это видел, ибо миг назад он был рядом со мной.

И все же я ошибся, ибо руки мои были так же громадны, как тучи обложного дождя, только они были торопливее. Не знаю, почему они хотели раздавить мою бедную голову.

Она ведь была величиной всего-навсего с муравьиное яйцо, только немного повреждена и потому уже не вполне кругла. Я просительно вращал ею, ибо выражения моих глаз нельзя было различить, настолько они были малы.

Номой ноги, номой немислимые ноги лежали на лесистых горах и отбрасывали тень на сельские долины. Они росли, они росли! Они уже уходили в пространство, где никаких местностей не было, их длина давно уже вышла за пределы моего зрения.

Но нет, не то... я ведь мал, пока мал... я качусь... качусь... я – лавина в горах! Пожалуйста, прохожие, будьте так добры, скажите мне, какого я роста, измерьте мне эти руки, ноги...

– Как же это так? – сказал мой знакомый, который пошел со мной из гостей и спокойно шел рядом по одной из дорожек Лаврентьевой горы. – Остановитесь наконец на минутку, чтобы я в этом разобрался... Знаете, мне надо покончить с одним делом. Это так утомительно... эта холодная, правда, и ясная ночь, но этот сердитый ветер, который порой даже, кажется, меняет положение вон тех акаций.

На немного выпуклой дорожке лежала лунная тень дома садовника, скудно украшенная снегом. Увидев скамейку, которая стояла у двери, я указал на нее поднятой рукой, ибо не был храбр и ждал упреков, отчего и приложил к груди свою левую руку;

Он сел с тоской, не жалея своей одежды, и привел меня в удивление, когда упер локти в бедра и положил лоб на прогнутые кончики пальцев.

– Да, теперь я это скажу. Знаете, я живу размеренно, ни к чему нельзя придраться, все делается, как надо и как принято. Несчастье, к которому в моей среде привыкли, меня не пощадило, что мое окружение и я с удовольствием видели, и это всеобщее счастье не заставило себя ждать, и я сам, случалось, говорил о нем в узком кругу. Что ж, я еще ни разу не был действительно влюблен. Порой я сожалел об этом, не пользовался этим выражением, когда оно бывало мне нужно. Теперь я должен сказать: да, я влюблен и, наверно, возбужден от влюбленности. Любовник я пламенный, какого желают себе девушки. Но мог ли я забыть, что как раз этот прежний недостаток придавал моим связям исключительно веселый, особенно веселый оборот?

– Успокойтесь, – сказал я участливо и думая только о себе. – Ваша возлюбленная ведь, как я слышал, красива.

– Да, она красива. Когда я сидел рядом с ней, я только и думал: «Какой риск... а я такой смелый... отправляюсь в плавание... галлонами пью вино». Но когда она смеется, она не показывает зубок, как того ждешь, а видно только темное, узкое, изогнутое отверстие рта. В этом есть что-то хитрое и старушечье, хотя она откидывает назад голову, когда смеется.

– Не могу этого отрицать, – сказал я со вздохом, – наверно, я тоже видел это, ибо это должно бросаться в глаза. Но дело не только в этом. Что такое вообще девичья красота! Часто, когда я вижу платье со всяческими оборками, рюшами и бахромками, которые красивы на красивом теле, я думаю, что они недолго сохранятся такими, а сморщатся так, что уже не разглядишь, и покроются пылью, от которой уже не отчистишь отделку, и что никто не захочет быть настолько смешным и жалким, чтобы каждодневно надевать утром и снимать вечером одно и то же драгоценное платье. Однако я вижу девушек, которые при всей их красоте, при всех их прелестных мышцах и лодыжках, и тугой коже, и массе тонких волос, каждый день все-таки появляются в одном и том же данном природой маскарадном костюме и, смотрясь в свое зеркало, кладут в свои одни и те же ладони всегда одно и то же лицо. Лишь иногда вечерами, когда они поздно возвращаются с какого-нибудь праздника, оно кажется им в зеркале изношенным, опухшим, запылившимся, всеми уже виденным и не годным больше для носки.

– Однако во время пути я часто спрашивал вас, находите ли вы эту девушку красивой, а вы каждый раз отворачивались, не отвечая. Скажите, вы замышляете что-то недоброе? Почему вы не утешите меня?

Я воткнул ступни в тень и любезно сказал:

– Вас не надо утешать. Вас же любят.

При этом я, чтобы не простудиться, прижал ко рту свой носовой платок с узором из синего винограда.

Теперь он повернулся ко мне и прислонил свое толстое лицо к низкой спинке скамейки.

– Знаете, вообще-то у меня еще есть время, я все еще могу сразу покончить с этой начинающейся любовью каким-нибудь гнусным поступком, или изменой, или отъездом в далекие края. Ведь я в самом деле очень сомневаюсь, следует ли мне подвергать себя этому волнению. Тут нет никакой определенности, никто не может точно назвать направление и срок. Если я иду в пивную с намерением напиться допьяна, то я знаю, что в течение данного вечера буду пьян. А в моем случае? Через неделю мы собираемся совершить загородную прогулку с семьей друзей, разве от этого не возникнет двухнедельной грозы в душе! Поцелуи этого вечера приводят меня в сонливое состояние, чтобы дать место необузданным снам. Я противлюсь этому и совершаю ночную прогулку, тут оказывается, что я не перестаю волноваться, что меня бросает то в жар, то в холод, как от порывов ветра, что я все время дотрагиваюсь до розовой ленточки в своем кармане, что я полон опасений за себя, но разобраться в них не могу и выношу даже вас, сударь, хотя при иных обстоятельствах наверняка не стал бы так долго говорить с вами.

Мне было очень холодно, и небо уже немного склонилось, белея.

– Тут не поможет ни гнусный поступок, ни измена, ни отъезд в далекие края. Вам придется покончить с собой, – сказал я и улыбнулся.

Напротив нас, на другом конце аллеи стояло два куста, а за этими кустами внизу был город. Он был еще немного освещен.

– Хорошо, – воскликнул он и ударил по скамье своим крепким кулачком, который, однако, сразу разжал, – а вы останетесь живы. Вы не покончите с собой. Никто вас не любит. Вы ничего не можете достигнуть. Вы не можете справиться со следующим мгновением. Вот вы так и говорите со мной, подлый вы человек. Любить вы не можете, ничто не волнует вас, кроме страха. Посмотрите-ка на мою грудь.

Он быстро расстегнул пальто, жилет и рубашку. Грудь у него была действительно широкая и красивая.

Я начал рассказывать:

– Да, такое упрямство иногда находит на нас. Этим летом я был в одной деревне. Она находилась у реки. Я очень хорошо помню. Я часто



сидел в неестественной позе на скамейке на берегу. Гостиница у воды там тоже была. Часто можно было услышать игру на скрипке. Молодые сильные люди говорили в саду за столиками с пивом об охоте и приключениях. А еще были на другом берегу туманные горы.

Тут я встал с чуть перекошенным ртом, ступил на газон за скамейкой, сломал несколько заснеженных веточек и сказал затем своему знакомому на ухо:

– Я обручен, признаюсь.

Мой знакомый не удивился тому, что я встал.

– Вы обручены?

Он сидел действительно очень нетвердо, опираясь только на спинку. Затем он снял шляпу, и я увидел его волосы, которые благоухали и, будучи тщательно причесаны, завершали круглую голову на затылке заостренно-округлой линией, как то любили этой зимой. Я был рад, что так умно ответил ему. «Да, – говорил я себе, – как он расхаживает в обществе с подвижной шеей и вольными руками. Он может с приятным разговором провести даму через зал, нисколько не беспокоясь о том, что перед домом идет дождь, или там в робости кто-то стоит, или происходит еще что-нибудь достойное сожаления. Нет, он одинаково красиво склоняется перед дамами. Но вот он сидит здесь».

Мой знакомый провел батистовым платком по лбу.

– Пожалуйста, – сказал он, – положите мне на минуту свою руку на лоб. Прощу вас.

Когда я не сразу это исполнил, он сложил просительно руки.

Словно наша забота все затмила, мы сидели вверху на горе, как в маленькой комнате, хотя ведь и раньше уже заметили свет и ветерок утра. Мы сидели совсем рядом, хотя не любили друг друга, но мы не могли друг от друга отдалиться, ибо вокруг были стены. Но мы могли вести себя смешно и без всякого достоинства, ибо нам не нужно было стыдиться веток над нами и деревьев, стоявших напротив нас.

Тут мой знакомый не мешкая вынул из кармана нож, задумчиво открыл его, воткнул, словно в какой-то игре, в свою левую руку выше локтя и не вытащил оттуда. Сразу хлынула кровь. Его круглые щеки были бледны. Я извлек нож, разрезал рукава зимнего пальто и фрака, вспорол рукав рубашки. Затем пробежал немного вниз и вверх по дороге, чтобы посмотреть, нет ли кого-нибудь, кто может помочь мне. Все ветки были видны почти резко и не шевелились. Затем я пососал глубокую рану. Тут я вспомнил о домике садовника. Я побежал в гору по лестницам, которые вели к верхнему газону по левую сторону дома, торопливо обследовал окна и двери, я звонил, злясь и топя ногами, хотя сразу увидел, что в доме никто не живет. Затем посмотрел рану, которая кровоточила тонкой струей. Я увлажнил его платок снегом и неловко перевязал ему руку.

– Милый, милый, – говорил я, – из-за меня ты ранил себя. Ты прекрасно устроен, окружен приятными вещами, ты можешь гулять среди бела дня, когда повсюду среди столиков и на дорожках холмов видно много тщательно одетых людей. Подумай, весной мы поедем в плодовый сад, нет, поедем не мы, это, к сожалению, правда, поедешь ты с Аннерль, радуясь и резвясь. О да, поверь мне, прошу тебя, и солнце покажет вас всем самым прекрасным образом. О, вот музыка, вдали слышен топот лошадей, не надо тревожиться, вот крики, и шарманки играют в аллеях.

– Ах, боже мой, – сказал он, встал, оперся на меня, и мы пошли, – это же не помощь. Радоваться мне нечему. Простите. Уже поздно? Может быть, завтра утром мне надо будет что-нибудь предпринять. Ах, боже мой.

Фонарь близ стены горел и отбрасывал тени стволов на дорогу и белый снег, а тени разнокалиберных крон, опрокинувшись, как сломанные, лежали на склоне.